

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...»: СОЦИОЛОГИЯ КАК МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

*Интервью с профессором Никитой Евгеньевичем Покровским
по случаю его 70-летия*

Юбилей отмечает видный российский социолог Никита Евгеньевич Покровский, профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, президент Сообщества профессиональных социологов. За плечами Никиты Покровского большая творческая и жизненная биография, отмеченная преподаванием в ведущих российских и зарубежных университетах, работой в международных социологических организациях, полевыми экспедициями на Ближнем Севере России, монографиями и публикациями в ведущих журналах, российскими и международными премиями и научными званиями.

(Сокращенный вариант данного интервью публикуется в журнале «Социологические исследования» №3, 2021 г.)

Н.Е. Покровский: Никуда не деться от упрямых цифр – 70! Вспоминаю свое 60-летие десять лет назад. Праздник, веселье в кругу ближайших коллег, концерт, скетчи, спичи. В тот год субъективно я даже не осознавал рубежности юбилейной даты, она, скорее, носила символический характер. Смешно сказать, я даже не удосужился оформить пенсию, как положено – все руки не доходили. «Вы это о чем? Какая пенсия, ей богу. Столько планов, обязанностей, текущих забот».

Теперь иные мысли. Все чаще перед внутренним взором разворачивается ретроспектива, идет невольная и постоянная переоценка эпизодов и этапов прошлой жизни, правильных и неправильных действий, возникает тема некоей итоговости, пусть и промежуточной. Виртуальная мемуаристика превращается в особую тему, отчасти социологическую. Можно сказать, «биографический нарратив Покровского».

На лекциях в студенческой аудитории я преднамеренно ограничиваю ссылки на свой прошлый опыт, даже если он хорошо иллюстрирует те или иные социологические концепции. Я просто запрещаю себе цитирование собственной биографии. «Ничего лишнего. Ничего личного», – говорю я сам себе. Но сейчас, кажется, немного иная ситуация. Юбилейное интервью – оно и есть юбилейное. Можно дать волю своим ретроспективным lamentациям. «Все, что было...»

Расскажите о Ваших родителях, родословной. Как известно, у российских социологов не могло быть родителей с этой профессией, поскольку сама социология была в СССР долгое время под запретом. Как среда художественной культуры, мира искусства, к которой принадлежала Ваша семья, повлияли на Вас как социолога?

По материнской линии подтвержденная родословная обнаруживается в конце XVI века. Приближенный Бориса Годунова (а до этого опричник Ивана Грозного) боярин Никита (Микитка) Качалов выполнял самые различные и не всегда благие поручения своего шефа. В мае 1591 года за предполагаемое соучастие в убийстве наследника престола цесаревича Дмитрия в Угличе Микитка разорван толпой (линчеван). Хорошее начало, ничего не скажешь! В XIX веке Качаловы – высшие морские офицеры, государственные деятели. Мой прапрадед Александр Николаевич Качалов – тайный советник, воспитатель Александра III, губернатор Архангельска и строитель архангельского порта, первый директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов. Его сын, мой прадед, Николай Николаевич Качалов (1852—1909) — адмирал флота, основатель и директор Электротехнического института в Петербурге (ныне ЛЭТИ), также губернатор Архангельска в 1905—1907 годах. Его младшая дочь – Мария Николаевна Качалова – моя бабушка, много сделавшая для моего воспитания, – осталась после 1917 года в России, в годы репрессий была под следствием в связи с участием в кружке по изучению Веданты, но, к счастью, избежала заключения. Мой двоюродный дедушка Николай Николаевич Качалов (1883—1961) – создатель советского оптического и художественного стекла, член-корреспондент АН СССР. Качаловы состояли в близком родстве и дружили с Александром Блоком (мой двоюродный дед).

После 1917 года значительная часть семьи Качаловых эмигрировала и осела в Латвии, Франции и США. В наши дни семейство Качаловых воссоединяется и родственно, и исторически. Усилиями «рижской» ветви нашей семьи Веры и Юрия Войцеховских-Качаловых выкуплено и восстановлено до абсолютно музейного состояния большое родовое поместье XIX века «Хвалевское» в Вологодской области. Это знаковый общественный проект создания культурно-исторического центра, подразумевающего свою полную открытость для местного сообщества и гостей извне. В Хвалевском проходят в том числе и наши социологические экспедиции, и конференции.

По моей отцовской линии – это священники на юге России (отсюда и церковная фамилия Покровский). Мой дед Георгий Дмитриевич Покровский был известным лесоводом и на пике карьеры возглавлял отдел лесного восстановления и семеноводства в

союзном министерстве. В 1970-90-е годы засверкала звезда моего двоюродного брата Дмитрия Викторовича Покровского (1944–1996) – выдающегося музыканта, фольклориста, создателя своей школы, ансамбля, и, я бы сказал, философии народного искусства. Дмитрий («Митя») Покровский поставил своей целью воссоздание подлинного звучания народного песенного и инструментального творчества, освободив его от напластований советских «народных» ансамблей песни и пляски. Его имя по-прежнему знаково для всех, кто занимается фольклором. «Пробиться к внутренним пластам народного звучания» – так, наверное, можно было бы кратко сформулировать лозунг Дмитрия Покровского. Мы дружили с детства. Позднее Митя несколько раз пытался приобщить меня к работе в ансамбле. Но здесь, как говорится, *no way* – это не моя стезя. К музыкальному исполнительству я не способен. Диапазон моих способностей не беспределен.

А если совсем близко, то так. Мой отец, Евгений Георгиевич Покровский, был известным кинорежиссером и оператором научного кино, лауреатом многих премий и обладателем почетных званий, участником Великой Отечественной войны. В 1956 году с группой альпинистов и с тяжелой кинокамерой «КОНВАС» в руках он принимал участие в первом в истории успешном штурме Пика Победы – третьей по высоте вершины СССР. (Предыдущая экспедиция полностью погибла.) Объездил полмира в составе научных, прежде всего океанографических экспедиций. В 1980-90-е годы фактически обосновался в биологическом центре АН СССР в Пущино-на-Оке. Он близко дружил с известными биологами из Пущино. Помню наши длинные разговоры на кухне у отца (знаменитые «кухонные разговоры») с Феликсом Белоярцевым, создателем перфторана, заменителя крови. Белоярцев через несколько лет трагически погиб при загадочных обстоятельствах (официально покончил жизнь самоубийством). Это отдельная печальная история. «Голубая кровь» – так назывался фильм, снятый отцом в его память.

В 1969 году отец снял научно-документальный фильм о Петре Кропоткине. Фильм фактически разрубил идеологическое табу, окружавшее имя великого русского мыслителя (не случайно первое название фильма «Князь-бунтовщик» отвергли, оставив нейтральное «Петр Кропоткин»). В подборе материалов для сценария по инициативе отца принимал некоторое участие и я, что позволило мне прочитать все основные произведения Кропоткина (и в первую очередь «Записки революционера»), принять их и полюбить на всю жизнь. Тогда же посчастливилось встретиться с крупным историком Н.М. Пирумовой, работавшей в области истории анархизма в России. (Вот и первое серьезное вторжение социальной науки в мою жизнь!) Примечательно, что каждый раз, подготавливая сценарий для очередного научного фильма, отец в основном проводил время в Ленинской библиотеке, изучая горы литературы по теме. В итоге ученые, будь то биологи, географы

или историки – видели в нем своего коллегу, конечно, не претендовавшего на открытия, но говорившего с ними на родном для них научном языке с полным пониманием смысла разговора.

Моя мать, Качалова Марианна Владимировна, была значимой фигурой на «Мосфильме» – она редактор, член художественных коллегий студии и Госкино, ответственная за сценарную работу и итоговый вариант фильмов, «выпускающая инстанция». В кругу ее близкого общения все знаменитые мосфильмовские кинорежиссеры 1950–70-х годов, сценаристы, известные писатели, актеры. Жестокий конфликт с семейством Михалковых в значительной степени оборвал ее карьеру. В конце жизни она публикует три сборника художественных новелл, пользующихся и сейчас популярностью. Характерны названия ее книг – «Невпопад», «Не ко времени», «На излете».

И, наконец, я не могу не сказать что-то очень важное о моем отчине Евгении Ивановиче Куманькове (1920 – 2012), в семье, в доме которого под одной крышей, начиная с 1957 года, я прожил почти шестьдесят лет. Это был выдающийся кино- и театральный художник (автор декораций к мосфильмовским блокбастерам «Садко», «Илья Муромец», «Капитанская дочка», «Метель», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другими), многолетний главный художник Малого театра, народный художник России, а в годы войны – участник Народного ополчения на вяземском направлении. Евгением Ивановичем были созданы декорации к знаковому спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович» режиссера Бориса Ровенских с Иннокентием Смоктуновским в главной роли и с музыкой Георгия Свиридова (с которым у художника были глубокая творческая дружба). Я, будучи тогда аспирантом, помогал отчиму и был с головой погружен в подготовку этого спектакля, посвященного очень серьезной теме – порочности власти, отягощенности государства насилием и, я бы так сказал, фатальной непреодолимости зла.

Е.И. Куманьков – еще и живописец, график, посвятивший себя исторической и архитектурной памяти Москвы и других российских городов. Несчетные поездки по стране, сотни графических листов и живописных полотен. Сейчас многие из них находятся в художественных музеях страны и в частных коллекциях за рубежом. Его любовь к исторической архитектуре в те далекие годы воспринималась семьей как просто хобби, как что-то гораздо менее значимое по сравнению с его театральными и киноработами. Но с годами, и особенно сейчас, в последнее десятилетие, творчество Куманькова приобрело для меня особый внутренний смысл, раскрыло глубины и горизонты того, что именуется исторической памятью, в том числе и в социологическом плане. Открылась еще одна вселенная. И это понятно. Став преемником его масштабного художественного наследия,

насчитывающим несколько тысяч работ, наша семья обозначила для себя и новую исследовательскую перспективу, которую мы стремимся реализовывать и в практическом плане, работая со студентами-социологами и культурологами в поле исследований московской старины, «экспедиций» по «точкам Куманькова» в городе (Цифровая выставка к 100-летию Е.И. Куманькова из семейной коллекции «Город. Память. Художник» недавно открылась в Музее Москвы: https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/e_kumankov/). Мой младший брат Антон Куманьков (1958–2010) – также художник высокой пробы, выпускник Суриковского института, график, портретист (им создана уникальная галерея натуральных портретов деятелей искусства и культуры... А.Ф. Лосев, Ю.М. Нагибин, Г.В. Свиридов, И.М. Смоктуновский, С.О. Шмидт, В.П. Енишерлов, все ведущие актеры Малого театра), книжный иллюстратор и просто чрезвычайно душевный человек, трагически погибший от удущья в дни августовской жары 2010 года в Москве.

Резюмируя, я скажу так. Я бесконечно многим обязан моей родительской семье. Она создавала вокруг меня атмосферу искусства, творчества, эстетики во всех ее проявлениях. За семейным столом изо дня в день шел нескончаемый «худсовет», на котором обсуждались самые различные аспекты классической и современной культуры, последние театральные и кинопремьеры, выставки. И политика тоже, между прочим. За семейным столом не возникали темы ни альковных сплетен и интриг из мира кино-театра, ни обсуждения гонораров и пр. Родители существовали вне «киношных» тусовок, не поощрялись и мои визиты на «Мосфильм». И хотя мой отец, сам прекрасный оператор и фотограф, давал мне профессиональные уроки фотографирования и обработки фотоматериалов (в чем я, кажется, вполне преуспел и показывал обнадеживающие результаты), но он, а также моя мать и отчим категорически отбрасывали саму мысль о моем поступлении во ВГИК, хотя они в свое время сами заканчивали этот престижный институт. Почему? Они говорили так: «В кино есть только одна значимая профессия – режиссер-постановщик. Все другие профессии кинопроизводства только ее обслуживают и ей подчиняются. Но режиссер – это человек не только концептуального кинематографического видения, но и великого, почти сумасшедшего организаторского таланта». Родители были без остатка, трудоголично, погружены в свои профессии, оставляя лакуны лишь для воспитания сыновей.

В каком-то смысле можно сказать, что я получил семейную искусствоведческую закваску, не столько в формальном отношении (хотя и это тоже), но, прежде всего, в области эстетического вкуса. Все великие советские и зарубежные фильмы 1960–1980-х годов проходили передо мной на премьерных показах «для своих» в Доме кино. Упомяну только самые-самые – «Гамлет» Козинцева-Смоктуновского, «Зеркало» Тарковского, «Профессия-репортер» Антониони, «Амаркор» Феллини, «Молчание» Бергмана,

«Обыкновенный фашизм» М. Ромма... Помимо всего прочего это были во многом философские произведения, а не, так сказать, узко «кинематографические». Они погружали в мир глубоких метафор и символических смыслов. Ни в коей мере не претендуя на роль художественного критика, я, тем не менее, могу в отношении многих произведений искусства сформулировать свое личное отношение и это мнение аргументировать, а не просто высказать суждения по принципу «нравится/не нравится». Не стоит удивляться и тому, что в 1970-е годы, параллельно философской аспирантуре в МГУ я начал публиковать театральные рецензии, обзоры (под псевдонимом «Н. Качалов») в газетах «Советская культура», «Комсомольская правда», в журнале «Театр». Более того, журнал «Театр» в начале 1980-х даже предложил мне стать заместителем главного редактора (от чего я отказался, не имея сильной внутренней мотивации идти дальше в этом направлении).

Что привело Вас на философский факультет МГУ? Какие преподаватели оказали на вас наибольшее влияние? Как Вы эволюционировали от философии к социологии?

Это смешная история. Несмотря на все усилия моего отца направить меня на стезю биологии, географии, отчасти, как утешительный вариант, археологии, я внутренне созрел для поступления в МГИМО. Дело в том, что в моем классе в 5-й английской спецшколе (ныне школа 1232) на Кутузовском проспекте почти все поступали в МГИМО. Среди моих одноклассников были сплошь дети мидовцев, послов, заведующих отделами в ЦК КПСС и все в том же духе. (Классом младше учились внучки Брежнева и Сулова.) Весьма специфический контингент и столь же специфическая атмосфера, особенно для тех, кто к этой элите не принадлежал. (Помню, как в нашем классе была правнучка величайшего пролетарского писателя-буревестника. На обеденной перемене она обычно не спускалась в школьный буфет. И когда однажды я, пообедав раньше других, вернулся в класс, то был поражен разлившимся по помещению запахом свежих огурцов. В середине зимы это было неслыханно и невиданно в те годы. Правнучка втихаря поела свой номенклатурный паек.) В итоге я не проявил стойкости, поддался общей атмосфере и направился в МГИМО. Долго и фундаментально готовился и прекрасно сдал вступительные экзамены лишь с одной четверкой. Но, увы, этого оказалось недостаточно, чтобы поступить. Все «дети» получали круглые пятерки. Так была устроена селекция уже в брежневские времена, а мне преподан урок «социальной справедливости». Потерпев абитуриентское фиаско, я находился в состоянии полнейшей юношеской депрессии и, попросту говоря, не знал, что делать дальше. И тогда совершенно неожиданно мне позвонила одноклассница и, узнав о моей неудаче, стала убеждать меня поступать на философский факультет МГУ. (Сама она

поступала на психологию). Поскольку я почти не имел никакого представления о философии (не считая моей любимой полуфилософской книги Сомерсета Моэма «Подводя итоги»), то она тут же привезла мне «настоящую философию», позаимствованную в родительской библиотеке ее матери Т.В. Самсоновой и ее мужа П.М. Егидиса, впоследствии известных диссидентов и парижских эмигрантов. Как я помню, это было дореволюционное издание книги Фихте «Назначение человека». Прямо скажем, чтение не для начинающих. Но мне понравилось. Не ссылаясь на Фихте – этого не потребовалось, – я легко сдал вступительные экзамены и оказался студентом философского факультета МГУ.

Для меня начались счастливые времена. ...В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский... Кто-то из этих великих читал нам огромные годовые или семестровые курсы (Асмус, Пятигорский, Мамардашвили), кому-то из них я сдавал экзамены, кто-то выступал со спецкурсами и мастер-классами. Но в любом случае это было для молодого студента прикосновение к неведомому, возвышенному, почти сакральному.

Я как-то сразу прибил к кафедре истории зарубежной философии. Сегодня вспоминая всех ее профессоров и преподавателей начала 1970-х годов. Среди них не было случайных людей, это были высочайшие специалисты, масштаб личности которых я чувствовал уже тогда, но в полной мере оценить его могу только сейчас, восстанавливая перед мысленным взором панораму имен и событий всех последующих лет моей биографии. Образованность, сказочная эрудиция, работа только и только с первоисточниками и текстами, знание древних и современных языков, никакого пустозвонства, все разговоры и обсуждения исключительно в деловом ключе, отношение к студентам как к равным. Вскоре моим научным руководителем стал Ю.К. Мельвиль, заведующий кафедрой и специалист по американскому прагматизму, помимо всего прочего поражающий меня своей интеллектуальностью, интеллигентностью и воспитанностью.

Достаточно быстро я сориентировался в истории философии и нашел свою собственную нишу – история американской социальной философии, прежде всего XVIII–XIX веков. Почему эта область? С одной стороны, меня в целом интересовала англоязычная философия (я хорошо читал по-английски, в том числе и старые тексты), а, с другой стороны, моя душа не лежала к так называемой «критике буржуазной философии» – насквозь идеологизированной области поношения «прислужников империализма». И я старался подальше отплыть от этого контента, как сказал бы я сейчас.

С энтузиазмом принялся я обрабатывать свою исследовательскую деланку. Она довольно скоро обозначила свои границы – это ранние философы американского пуританизма, американские просветители, прежде всего, Томас Джефферсон (моя первая

курсовая работа получила всесоюзную премию на конкурсе студенческих работ) и, конечно, американские трансценденталисты. Но проблема заключалась в том, что трансценденталисты-романтики – Ральф Эмерсон и, прежде всего, Генри Торо, в творчество которых я погрузился, – не вызвали энтузиазма со стороны кафедры. Они не входили в базовую программу по истории философии и считались маргинальными фигурами. Посему в качестве диплома мне добровольно-принудительно предписали тему по социальной философии Джона Дьюи – «настоящего» философа. С неохотой я принялся за сочинения американского прагматиста, но вскоре втянулся и до дыр зачитал «Демократию и образование» и «Культуру и свободу». Вскоре, уже в аспирантуре, кафедра попыталась еще раз развести меня с Генри Торо («он не философ») и закрепить за мной тему по тому же Дьюи. Но на этот раз я, осмелев, поставил вопрос ребром: либо я пишу диссертацию по Генри Торо, либо вообще ухожу из аспирантуры. Коллеги по кафедре со скрипом смирились, а после моей успешной защиты «с аплодисментами» даже заявили, что они всегда поддерживали новаторские исследования американского трансцендентализма. Ну пусть так, и слава богу, с моей стороны возражений нет. Кстати, за публикацию моей диссертации в виде книги – «Генри Торо» (М., Мысль, 1983), – которая была позднее издана и на английском языке, я получил в 1985 году Премию Ленинского комсомола в области науки. С тех пор Генри Торо с его идеями дезурбанизации, экологизма, анархизма и критики общества потребления и поныне остается одной из важнейших исследовательских тем моей работы, кстати сказать, во многом переплетающейся и с чисто социологическими теориями дауншифтинга, социальной экологии и центробежной мобильности.

Как Вы уже, наверное, поняли, я люблю метафоры, театр, символы. По точным чертежам, полученным в Обществе Генри Торо в Конкорде, мы воспроизвели на нашей костромской базе Угорского проекта на реке Унже точную музейную копию домика Торо на Уолденском озере (г. Конкорд, Массачусетс) – один к одному, включая строительные материалы, внутреннюю обстановку и даже каминный очаг. Местные плотники всякий раз пытались усовершенствовать проект, руководствуясь своими представлениями о плотницком искусстве. Я убеждал их этого не делать. Тогда они с помощью своих детей-школьников прямо в деревне сели на интернет, вошли на сайт Общества Торо и подробно рассмотрели все детали, представленные в многочисленных видео. Сами перевели дюймы в метрические единицы. Больше дискуссий у нас не возникало. На открытии «музея» замечательный социолог Владимир Николаев зачитывал на русском языке фрагменты из «Уолдена, или Жизнь в лесу» (главного произведения философа), а наш коллега из США, культуролог Стивен Лапейруз параллельно читал их в оригинале на английском. Право провести первую ночь в домике Торо получил петербургский социолог Владимир Ильин.

(На вторую ночь выдержки Владимира Ивановича уже не хватило. Был месяц май, на Ближнем Севере холодно).

Еще в 1978 году мне присвоили звание пожизненного члена Общества Генри Торо (The Henry David Thoreau Society), а в 2016 году наградили премией «Человек Года» в области исследований творчества этого великого философа. За последние двадцать лет или даже более того я, по-моему, не пропустил ни одной ежегодной конференции в Конкорде – городе, где родился, жил и умер Генри Торо, где написал свой знаменитый труд «Уолден, или Жизнь в лесу» («Walden; or, Life in the Woods») и где проходят ежегодные международные конференции памяти философа.

За моим, можно сказать, пожизненным интересом к Генри Торо у меня последовал и более широкий охват американского трансцендентализма. Я написал большую интеллектуальную биографию Ральфа Эмерсона – старшего друга и единомышленника Г.Торо. (Н. Покровский. Ральф Эмерсон. В поисках своей Вселенной. Конкорд, 1995). Первоначально книга планировалась для серии «Жизнь замечательных людей» в «Молодой гвардии». Но издательство в ходе работы над книгой под влиянием конъюнктуры радикально ушло в сторону от американской тематики и всего «западного» вообще, сосредоточившись почти исключительно на исконно русском. И потому пришлось издать моего Эмерсона в США (что в итоге пошло на пользу и дизайну и полиграфии) и с немалыми приключениями на таможне в Шереметьево (ох уж это Шереметьево!) перевезти основной тираж в Россию.

Как-то само собой в течение летних каникул на съемной даче в Салтыковке написалась и книга «Ранняя американская философия. Пуританизм» (1989). Удивительно дело, она оказалась успешной и, насколько я знаю, до сего времени входит в списки обязательной литературы для студентов-историков. ...Американская философия упорно следует за мной по пятам. Мой студенческий интерес к философскому наследию Томаса Джефферсона и Генри Торо сопровождает меня в течение всей жизни.

В 1995 году издательство «Республика» (бывш. «Политиздат») обратилось ко мне с предложением написать предисловие к русскому переводу книги Гаррета Шелдона «Политическая философия Томас Джефферсона». Я с удовольствием и на подъеме это сделал. Идеи Джефферсона и сама его личность всегда вызывали у меня прилив энтузиазма. И тут же мне последовало приглашение стать первым исследователем извне США в Международном центре исследований Томаса Джефферсона в Монтичелло. Дело в том, что Монтичелло это усадьба великого американца, превращенная в музей мирового класса и, я полагаю, лучший музей в своем своего роде в США. (Нечто подобное Ясной Поляне Льва Толстого – по значимости и масштабности.) Однако мне предстояло существенное

большее, чем углубляться в сочинения Джефферсона. Каждый год 13 апреля, в день рождения третьего президента США, в Монтичелло на могиле Джефферсона на открытом воздухе проходят национальные торжества, приезжает губернатор Вирджинии, съезжаются члены конгресса и сенаторы из Вашингтона, лидеры Демократической партии США, пресса. И вот мне предложили выступить с тронной речью для всех сотен присутствовавших, с речью о принципах джефферсоновской демократии. Было от чего растеряться. Ведь помимо всего прочего в прошлые годы моими непосредственными предшественниками в этой роли были Колин Пауэлл – известный всей Америке генерал армии и Государственный секретарь США – и сама Маргарет Тетчер. Заранее я подготовил пафосно-официозный текст с лирическими ссылками на мой российский опыт по части демократии. Отредактировал речь и распечатал ее крупным шрифтом на небольших листах бумаги, чтобы было удобно достать из кармана пиджака в нужный момент. В означенный день на огромном газоне перед усадьбой Монтичелло и в непосредственной близости от могилы Джефферсона собрались и расселись на переносные стулья многочисленные гости. Гремел военный оркестр, уши закладывало от барабанной дроби и завывания волюнок, маршировал почетный караул, обряженный в форму солдат XVIII века. Вскоре объявили мое имя и пригласили на трибуну, утыканную микрофонами. В самой середине моего выступления неведь откуда налетел сильный порыв ветра, и все листки моей незаконченной речи взмыли в воздух и веером разлетелись по всему газону. Аудитория ахнула. Знатные гости повскакали со своих мест и попытались собрать листки, дабы вернуть их на трибуну. Но здесь я королевским жестом и с улыбкой извлек из другого кармана второй, резервный экземпляр речи и спокойно довел ее до конца. Этот эпизод запомнили в Монтичелло надолго. Через пару лет меня снова пригласили в джефферсоновский центр-институт продолжить мои исследования, а потом и еще раз я побывал там с лекцией. Какой-то удивительный факт открылся для меня и в том, что меня в тот первый раз, поселили рядом с Монтичелло в бывшей усадьбе Эдвина «Па» Уотсона, генерал-майора армии США, военного советника, помощника и секретаря президента Франклина Рузвельта. Здесь в этой усадьбе Ф. Рузвельт проводил все свое свободное время, скрываясь он назойливых визитеров и корреспондентов из Вашингтона. Это было место его уединения и отдыха. Усадьба уже давно принадлежала музею Монтичелло и была превращена в шикарный офис, но с полным сохранением исторической подлинности. В усадьбе-офисе оставалась лишь одна жилая гостевая комната. И это была историческая спальня президента Ф. Рузвельта. И разместили меня именно в ней. Здесь Рузвельт, как свидетельствуют протокольные записи, ожидал сведений о высадке в 1944 году американских войск в Нормандии и открытии Второго фронта. Это была сравнительно

небольшая комната, ничем не примечательная, кроме своей исторической памяти. В ванной на всех стенах были укреплены мощные рейлинги. Они остались, как, впрочем, и все остальное, от президента Рузвельта, ведь он мог передвигаться только в инвалидном кресле... Мне не свойственно бурное поэтическое воображение, но, честное слово, оставаясь по вечерам в полном одиночестве (все сотрудники Центра Джефферсона уходили после окончания рабочего дня), бродя по опустевшей библиотеке, столовой, гостиной (и кухне 1940-х годов тоже!), я помимо своей воли видел вокруг себя тени ушедших президентов, мне слышались нездешние голоса и мелодии иных времен. Больше таких видений в моей жизни никогда не случалось.

И все же вернемся к социологии. Какие первые шаги в социологии Вы считаете сами важными, что предопределило Ваш путь в нашу науку?

В 1970–80-е годы – это работа в журналистике и преподавание в МГУ на философском факультете. Параллельно работа в отделе культуры журнала «Коммунист», тесное, почти каждодневное общение с Р.И. Косолаповым и Ю.Н. Афанасевым, бесспорно, очень разными, но выдающимися интеллектуалами своего времени. К 1985 году я редактор (заведующий) отдела критики в «Коммунисте» и одновременно помощник главного редактора. Помню, как словно это было вчера – 13 марта 1985 года. Идет пленум ЦК КПСС, долженствующий избрать нового генерального секретаря. Р.И. Косолапов – главный редактор журнала и член ЦК – отбыл на заседание пленума в Кремль. В редакции я остался один, все сотрудники уехали на автобусе обедать. В окно вижу: подъехала черная «волга» главного, вернувшегося из Кремля. Встречаю его на лестнице. Он медленно и тяжело поднимается на второй этаж. «Ричард Иванович, кого же избрали?» – «Горбачева». И помолчав добавляет: «Это конец всему!». Это, действительно, был важный исторический рубеж для страны. Через год в редакции полная смена караула. На пост главного редактора приходит любимец и протеже Раисы Горбачевой И.Т. Фролов, а вместе с ним Е.Т. Гайдар и О.Р. Лацис. На этом мой шестилетний срок в «Коммунисте» завершился, я вернулся МГУ и занялся чисто научной и преподавательской работой.

В 1986 году в МГУ по инициативе В.И. Добренькова и под его руководством стал возникать социологический факультет и на нем кафедра истории и теории социологии. Меня пригласили в докторантуру на эту кафедру. Немного подумав, я согласился. Получить какую-либо научную ставку в МГУ тогда и теперь – это как выиграть по лотерейному билету миллион (что отнюдь не эквивалентно самой зарплате). И тут же меня с места в карьер поставили к «станку» – читать для студентов общий курс истории социологии. Это было непросто. Многие имена и персоналии в социальной философии и социологии

принадлежали обеим наукам, например, О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Дж.Г. Мид и другие. И я, как мог, старался понять, в чем же, в конце концов, специфика именно социологического взгляда на мир, где пролегает этот тонкий водораздел между социальной философией и теоретической социологией. В этих поисках и терзаниях прошло четыре года.

В 1989 году я выиграл грант Национального гуманитарного центра в Северной Каролине (США) и на целый год отправился в один из самых концентрированных анклавов американских социологов – Дюкский университет и Университет Северной Каролины в Чепел-Хилле. Приняли меня там более чем радушно. Живой классик Эдвард Тирикьян (ученик Питирима Сорокина) доверил мне читать его курс по истории социологии, пока он сам уезжал в частые командировки.

Тогда же в Нью-Йорке я открыл в гостинице телефонный справочник («желтые страницы») и инициативно позвонил Роберту Мертону, представился и вечером того же дня сидел в его квартире рядом с Колумбийским университетом. Знакомство с Мертоном, наше многолетнее общение, благоговейное отношение с моей стороны и крайне дружелюбное, заинтересованное внимание со стороны гения социологии, сыграли решающую роль в моей судьбе. (Я подробно описал эту встречу в своем очерке «Ранний вечер на Утренних Холмах, год 1990-й. Предельно субъективные заметки о Роберте Мертоне». Социологические исследования, 1992, № 6.) Шаг за шагом он погружал меня в свои идеи. Получил я из его рук в тот знаменательный вечер увесистый том «Социальной теории и социальной структуры» с трогательным автографом автора. Уже в Москве я проштудировал с карандашом в руках и с выписками всю книгу от корки до корки. Увлекательнейшее чтение, выверенность авторской мысли, четкость позиции и замечательный язык, с одной стороны – отточено научный, с другой – метафорический.

По возвращении в Москву, на внутреннем подъеме я тут же стал читать своим студентам спецкурс по Мертону. После этого и с полной (отчасти самоуверенной) твердостью могу сказать: я знаю, что такое социология и ничто не способно свернуть меня с пути праведного. Кристальная ясность мертоновского ума, аналитичность и критичность его взгляда на науку социологии, смею надеяться, вошли в поры моего сознания. Беру на себя ответственность утверждать, что Роберт Мертон – это социолог номер один XX века (и это не только мое мнение), а «Социальная теория и социальная структура» — это Библия социологии. Всегда говорю своим студентам: «Хотите понять, что такое социология – читайте эту книгу. В итоге вы станете социологом. Но никак иначе». Именно я инициировал перевод и издание на русском языке этой великой книги, чем безмерно горжусь. Позднее Мертон отрекомендовал меня своему ученику Петру Штомпке, а Штомпка подружил меня

с Джеффри Александером. Возникла и продолжается дружба и сотрудничество с другим последователем Мертона – немецким социологом Нико Штером, кстати, автором перевода все той же «Социальной теории...» на немецкий язык.

«Лихие» 1990-е годы для меня – это прекрасное время расцвета социологии, это мое преподавание в МГУ и МГИМО (вот опять МГИМО, встретились через много лет!). С 1999 года и поныне – заведование кафедрой общей социологии в НИУ ВШЭ. Постоянные командировки в американские и европейские университеты, Фулбрайтовский профессор в Университете Индианы (2004), стажировки, участие в работе Международной социологической ассоциации и, как результат, достаточно близкое знакомство практически со всеми современными классиками социологии. Постепенно, отнюдь не сразу возник круг и тех, кто в той или иной степени поддерживал и направлял меня в российской социологии – А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан, Т.И. Заславская, В.А. Ядов, И.С. Кон, Ю.А. Замошкин, Н.И. Лапин, Ж.Т. Тоценко, Л.М. Дробижева, – это если сказать только о великих. Все это судьба, это счастье. Именно так я вижу и понимаю прошлое.

Инициатива моего приглашения в Вышку целиком принадлежала О.И. Шкаратану, создававшему тогда большой факультет социологии в ВШЭ. Он прямо-таки принудительно привел меня, сомневающегося, на заведование кафедрой общей социологии на своем факультете. Дотемна мы, включая и моего замечательного коллегу, профессора А.А. Овсянникова, засиживались в кабинете Овсея Ирмовича в Институте экономики переходного периода, планируя учебные курсы и будущие программы по общей социологии в ВШЭ. К моменту моего прихода кафедра уже существовала два года. Помимо общей социологии на ней преподавался для всего университета весь (весь!) цикл гуманитарных дисциплин плюс психология. Как это было возможно, я до сих пор не могу себе представить. В области собственно теоретической социологии на кафедре блистали звезды Л.Г. Ионина и А.Б. Гофмана. Но Л.Г. Ионин, тогдашний заведующий кафедрой, ушел на повышение. На его место заступил я. Опыта заведования у меня не было никакого. Что называется, перекрестившись, я рискнул. Так оно с тех пор все и развивается.

А еще раньше, в 1992 году, Т.И. Заславская пригласила меня принять участие в неформальном обсуждении в узком кругу проекта ее выступления для очередного заседания программного комитета Международной социологической ассоциации (ISA-MCA), головной всемирной организации социологов, куда она входила. В итоге она сказала: «Вам обязательно надо серьезно присмотреться к МСА и принять участие в ее работе». Я последовал ее совету. Очередной конгресс планировался в 1994 году в Билефельде (ФРГ). Подчиняясь какому-то внутреннему голосу, я подготовил несколько провокационное выступление для полупленарного заседания конгресса. Вполне искренне я

писал в своем тексте об ограниченности перестройки в России, о ее половинчатости и незавершенности с точки зрения изменений социальной структуры общества. Общий пафос выступления был с очевидностью антифукуямовским, имея в виду эпохальную статью Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», которая в одночасье превратилась в бестселлер всех времен и народов и завоевала умы западной научной публики, погрузив ее на долгое время в полнейшую эйфорию. Но у себя дома, в России, я видел все по-другому. Не испытывая некритического восторга от происходящего, я как социолог угадывал многочисленные волчьи ямы и тупики путей постсоветского развития. (Надо думать, критический реализм Мертон дал свои всходы.) Мне, отстоявшему в августе 1991 года в бронезилете и с противогазом две ночи в цепях защитников Белого дома, история отнюдь не представлялась завершенной на рубеже 1990-х. Напротив, на моих глазах она перерастала в серию скрытых трансформаций, внутренних противотоков и контртечений, включая и международный терроризм (о котором тогда практически никто и не слышал). Фибрами своей души я чувствовал наличие потенциального, дремлющего конфликта – близкого или отдаленного. Социум рисовался мне в мрачноватых тонах Босха (ну не совсем, но отчасти).

...Однако денег на поездку на конгресс с подготовленной эпохальной речью в тот год у меня не было. И только в самый последний момент В.А. Ядов нашел для меня какой-то небольшой грант в Минвузе на Люсиновской, и я, с приключениями отстояв в очереди за визой в немецком посольстве целую ночь, в вихревом темпе благополучно отбыл в Германию, где меня вместе с Олегом Хорхоудиным поселили в благотворительном хостеле католического учебного центра монастырского типа.

В целом конгресс на поверку оказался своего рода съездом победителей – первым всемирным обобщающим форумом социологов, провозгласившим «смерть истории» (распад мирового коммунизма), «теорию глобализации», «постмодерн» и т.д. Все участники были на подъеме, постоянно чуть ли не обнимались друг с другом, повсюду улыбки, речи, здравицы, тосты. Разрушился на глазах их прежний мир и стал возникать новый. Есть причина, от чего социологам впасть в состояние эйфории.

(Здесь же произошел любопытный инцидент. На пленарном выступлении Алана Турена местный постмодернист, абсолютно обнаженный с головы до ног, спустился мимо меня с верхних рядов амфитеатра аудитории и в позе микельанджеловского Давида, как есть, встал лицом к оратору на расстоянии вытянутой руки от трибуны. Турен не растерялся и, что-то хмыкнув себе под нос, спокойно завершил свое выступление строго по тексту. Это был смыслонадеждающий перформанс. Великий социолог, видимо, по своей французской закалке был привычен и не к такому.)

На фоне праздника и социологического спектакля я, набравшись смелости, выступил на большую аудиторию в несколько сот делегатов с утверждениями, наполненными тревогой, озабоченностью, предчувствиями не лучшей перспективы для всех нас. В моем выступлении налицо были диссонанс, явная противофаза траекторий и даже легкая провокация, стимулировавшая этот диссонанс. И сделал я все это вполне осознанно, ибо сполна уже пресытился в США и Европе детскими восторгами по поводу «Горби» и всего с ним связанного. (Кстати, в принципе, я ничего не имею против Михаила Сергеевича, учитывая и то, что в 1996 году он предложил мне стать руководителем его избирательного штаба на президентских выборах – тех самых, знаменитых и для него последних. Устное приглашение с его стороны было увенчано пафосной фразой и взглядом, упертым в мои глаза: «Вы в меня верите?»). Я не знал, что сказать. Его рейтинг на тот момент был всего 4%. «Михаил Сергеевич, мы, социологи, верим только цифрам», – нашелся я.) Большинство американских и европейских интеллектуалов, включая социологов, по моим наблюдениям, сильно подвержены колебаниям моды и, как правило, интуитивно склоняются к простым плоскостным моделям, играя, как в шахматах, на упрощение комбинации. Чего не скажешь о русских, во всем видящих исключительно «сложности».

...Руководил тем самым полупленарным заседанием на конгрессе в Билефельде не кто иной как американец Роланд Робертсон, автор ныне известной теории глокализации, претендовавшей тогда на новую доминирующую парадигму в теоретической социологии. Прослушав в течение несколько абзацев моего достаточно эпатажного выступления, Робертсон шумно отодвинул председательское кресло и с переполнявшим его через край возмущением, покинул председательское место, хлопнул дверью и вышел из зала. Как я понимаю, от меня ожидали совсем другого, а именно покаяния «советского» социолога и духоподъемных текстов по поводу новых светлых перспектив. Когда я завершил выступление, Робертсон моментально вернулся на свое место. Это был своего рода социологический театр. (Гораздо позднее и в переработанном виде я опубликовал этот знаменательный для себя текст: N.E. Pokrovsky. Globalization and Conflict: Pitirim Sorokin and Post-Modernity. Return of Pitirim Sorokin. Ed. by S.Kravchenko and N.Pokrovsky/ Moscow, International Kondratieff Foundation, 2001.)

На следующем Всемирном социологическом конгрессе в Монреале П. Штомпка – вот уж кто никогда не играет на упрощение! – пригласил меня войти на четыре года в программный комитет МСА, который он сам возглавил. В дальнейшем, на конгрессах в Дурбане и Гётеборге, меня на восемь лет избирали в число шестнадцати постоянных членов Исполкома Международной социологической ассоциации, где я отвечал и за молодежную политику МСА, и за определенные сегменты программы всемирных конгрессов, и «за

Россию» вообще. Это повлекло за собой немалый объем организационной работы в международном поле нашей профессии, тонны переписки, серию свершившихся и не свершившихся интереснейших глобальных проектов и много всего другого. Однако, конечно, самым запоминающимся для себя считаю встречи, длительное общение, сотрудничество с великими социологами, включая И. Валлерстайна, П. Штомпку, М. Вивьерку, А. Мартинелли, Дж. Александера, Дж. Ритцера, Дж. Урри. В этой связи упомяну и Майкла Буравого, с которым, правда, мы всегда стояли и поныне стоим на прямо противоположных идейных позициях. Но это не отменяет самого факта сотрудничества. Мне посчастливилось познакомиться, пусть очень кратко, с Э. Гидденсом, У. Бекон, приезжавшими в Москву. Я председательствовал на их лекциях в Шанинке и потом опубликовал в «Отечественных записках» свои впечатления об этих событиях. До сих пор в моей памяти остается встреча с З. Бауманом в РГГУ и Институте социологии. Все эти события, я это ясно вижу теперь, содержали в себе какой-то потаенный смысл и создавали своего рода точки опоры в моей «личной социологии», если так можно выразиться.

За последние годы МСА довольно заметно ушла в сторону от классических социологических сюжетов. На трибунах конгрессов перестали появляться ведущие мировые социологи экстра-класса. На передний план вышли социологические активисты всех видов, трактующие социологию по преимуществу не как исследовательскую науку, а как борьбу против «глобального Севера», за права меньшинств, как выступление против неокOLONIALИЗМА, бедности и пр. Слов нет, это важные темы, но далеко не единственные и вполне однопорядковые в ряду многих других. Но главный акцент был перенесен именно на них и погружен в риторику борьбы и протеста, а фундаментальная научная социология со своими представлениями о сущем и должном незаметно отошла на второй план. Сегодня создается устойчивое впечатление, что международная социология не только в странах третьего мира (это происходит как бы само собой и по умолчанию), но и в ведущих социологических центрах «глобального Севера» неуклонно эволюционирует в направлении социального полуполитического движения light. Невольно возникают аналогии с движением BLM, которое, начиная с 2020 года, стало у всех на слуху. Порой кажется, все это, в общем и целом, сообщающиеся сосуды, это что-то очень близкое по духу и смыслу.

Против этой тенденции решительно выступил Петр Штомпка, и я его публично поддержал в своей статье «Больной отказался от госпитализации» ('Patient Denied Hospitalization' or 'In Defence of Sociology' Global Dialogue, Volume 10, Issue 3, 2011). Да, разумеется, у меня были и есть свои политические взгляды и предпочтения, которые я готов отстаивать в любой форме, но я решительно отделяю их от моих научных исследований. Мне порой возражают: «А как же Питирим Сорокин, погружавшийся в ходе революции в

самые тяжкие водовороты политической борьбы и в далеком Великом Устюге даже чуть ли не лишившийся жизни из-за этого?». Это тема для большого разговора среди специалистов. Были ли бессмертные социологические теории Сорокина созданы благодаря или вопреки его вовлеченности в революционную деятельность? Но в любом случае эти теории были им созданы. Сегодня же, как мне кажется, политизированная активистская социология никаких особых теорий не демонстрирует, и они не предвидятся. Все сводится к зажигательным лозунгам и морализаторству на политические темы. Такая социология на баррикадах, честно говоря, меня совсем не впечатляет. Под этим углом зрения и была написана моя статья, посвященная последнему социологическому конгрессу в Торонто (2018 год) «Левый марш международной социологии на фоне Ниагарского водопада» (Социологические исследования. 2019. № 2. С. 9–15).

Параллельно с моей работой в МСА и отчасти в связи с ней наша магистерская программа в НИУ ВШЭ «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций», которую я инициировал и возглавлял с 2008 года, стала наполняться онлайн-курсами и мастер классами, связывавшими нас со всем миром. Нам хотелось построить и опробовать модель социологического просвещения и превращения социологии в действующий фактор формирования общественного сознания. На нашей магистерской программе стали преподавать видные журналисты и общественные фигуры – Леонид Млечин, Михаил Таратута, Светлана Сорокина, Григорий Явлинский, Татьяна Ципляева, Михаил Кожокин. По телемостам в режиме реального времени (и это важно!) у нас выступали виднейшие зарубежные социологи Джеффри Александер, Майкл Буравой, Джордж Рицер, Джон Урри, Хартмут Роза, Петр Штомпка, Денис Смит. И это тогда, когда онлайн-ов еще никто не делал, когда все это было неслыханным новшеством. Методкабинет общей социологии при нашей кафедре превратился в своего рода коммуникационный центр, заполненный мониторами, компьютерами и всей прочей техникой. Для магистров и преподавателей, участвовавших в этих телемостах, реально и ощутимо распахивался глобальный мир социологии здесь и сейчас. Это чувство ни с чем нельзя сравнить.

В итоге моего совместного онлайн курса по урбанистике с культур-психологом Яном Вальсинером из Университета Кларка в Массачусетсе родилась замечательная поездка наших бакалавров в США. Мы бродили со студентами по Южному Бостону, реально держа перед собой в качестве путеводителя раскрытую классическую книгу Уильяма Фута Уайта «Общество на перекрестках», написанную в 1920-е годы именно в этих кварталах и ставшую фактически первым качественным исследованием городской среды. Мы, предоставленные сами себе, но имея в своем распоряжении старенький джип, позаимствованный у моих американских друзей, отправлялись в Нью-Йорк и погружались

в кварталы Гарлема и Южного Манхэттена. Вот уж социологическая урбанистика *per se*. Эта поездка во многом определила будущую профессиональную судьбу студентов.

Телемосты были записаны нами, расшифрованы и опубликованы. Они уже стали историей. В преподавании совместных курсов телемосты объединяли нас и с коллегами в Байкальском университете в Иркутске, в Саратовском техническом университете (Т.И. Черняева), на социологическом факультете СПбГУ (В.И. Ильин и Д.В. Иванов). Все это видится мне теперь как глобализация на практике, в жизни, а не на словах в виде неких заклинаний.

Это были годы творческих экспериментов в преподавании, поиски решений сложных образовательных дилемм, летних конференций в Костромской области, выступлений ведущих российских и зарубежных социологических светил. За эти годы на кафедре возник коллектив совершенно самостоятельных специалистов различных возрастов и научных треков, но специалистов, умеющих слушать и понимать друг друга. Без преувеличения могу сказать, что я учусь преподавательским нововведениям у своих молодых коллег и испытываю от этой преемственности большое внутреннее удовлетворение. Не могу не отдать должное заместителям заведующего кафедрой, выполнявшим огромный объем организационной работы, моим советчикам по всем вопросам, профессорам Т.Ю. Сидориной, Г.И. Иванченко (1965–2009) и О.А. Симоновой, моему заместителю по магистратуре Е.Р. Ярской-Смирновой. Сегодня кафедра растет и в своем научном потенциале, она превратилась в целый консорциум научных направлений. За каждым из них в НИУ ВШЭ стоят свои лаборатории, исследовательские группы и научные исследовательские гранты. И тем не менее центростремительный вектор коллектива не ослабевает.

Глобализация стала постоянным фактором Вашей личной мобильности и предметом профессионального интереса?

После моего первого конгресса МСА в Билефельде (1994) я как-то сразу воспламенился теорией глобализации, о которой в России никто в те годы по большому счету и не слышал. Из разных источников постепенно у меня сложилась своя теоретическая «матрица Покровского», включавшая основные социологические позиции, характеризующие глобализацию как новую «пересборку» логических схем развития современного мира. Это и новое восприятие распадающегося осевого времени, и его разбиение на дискретные отрезки индивидуальных траекторий, это возникновение сетей и распад иерархических пирамид социальной структуры, это сжатие географических дистанций, снятие границ и новые мобильности, ограничение всевластия национальных

государств и выход неправительственных организаций на первый план общественных процессов, и гибридизация культурных феноменов в формате быстрого полураспада и дальнейшего полусинтеза, и многое другое. В качестве нетленного образца над моими теоретическими штудиями витала фигура Макса Вебера с его моделью капитализма и «расколдования мира». Моя скромная попытка создания модели глобализации была своего рода попыткой «расколдования» хаотичного мира, казалось бы, слепленного из лоскутков, но, однако, имевшего свою вполне определенную логику. И сегодня, в 2021 году, когда по глобализационному процессу были нанесены и наносятся мощные удары, реально ставящие вопрос о смене общей социологической парадигмы, оглядываясь назад, могу сказать, что в свое время предложенная мною теоретическая матрица отвечала духу и букве времени. Так мне это видится. А возникнет ли сегодня в социологии новая парадигмальная модель, как, когда, из каких компонентов? Или же речь идет о серьезном видоизменении прежней глобализационной матрицы при сохранении ее идейного ядра? Вопрос – притом это главный и кардинальный вопрос – остается для меня открытым.

Вы создали уникальный Угорский проект. Расскажите о его сути, его результатах, перспективе развития.

Еще в начале 1980-е годов у меня возникла новая обобщающая научная тема – социальная теория одиночества – с отдаленной перспективой докторской диссертации. Для советского общества той поры это был несколько инородный предмет – как говорится, «тема не наша», никаких публикаций, нет вообще ничего. Да и сам я, честно говоря, был далек от переживания этого экзистенциального состояния. Я рассматривал одиночество как чисто философский, в чем-то умозрительный конструкт. Но вот что примечательно. Иногда меня спрашивали в высоких сферах, чем я занимаюсь, чем интересуюсь в философии. Я отвечал: «Теорией одиночества». И, надо же, самые позитивные и заинтересованные реакции были как раз со стороны партийных функционеров самого высокого. Парадокс? Отчасти.

Как это часто бывает, даже в самом серьезном деле переплетаются личные и общественные мотивы. По завершении докторантуры и уже открыв свой доцентский стаж в МГУ, я дописал и успешно защитил в 1996 году докторскую диссертацию «Одиночество и anomia: Философские и теоретико-социологические аспекты». Все складывалось вроде бы удачно. Но, тем не менее, я пребывал в несколько раздумчивом состоянии. И раздумья мои носили отнюдь не научный характер. Вначале, давным-давно, тема одиночества привлекала меня в основном чисто теоретически, как философский конструкт в традициях Сёрена Киркегора, экзистенциалистов, Альбера Камю, Мигеля Унамуно. При этом в своей

диссертации я старался провести демаркационную линию между состоянием одиночества (бесспорно, травматическим и болезненным – в духе экзистенциалистов) и уединенностью (стремлением избавиться от лишних контактов, городской суеты и погружением в творчество – Генри Торо). Но к моменту завершения диссертации мой взгляд на одиночество претерпел изменения. Дилемма «одиночество-уединенность» перешла из области чистой теории в социальную среду и стала приобретать в чем-то личностную окраску.

В середине 1990-х годов я особенно явственно почувствовал некую глубокую неудовлетворенность своей жизнью в городе, в Москве. И для этого были поводы. Дело в том, что я сам коренной москвич, родился в доме на Тверской (тогда улице Горького) между площадью Пушкина и Маяковкой. Потом в жизни молодого человека на долгие годы обозначил себя Кутузовский проспект. Мои ближайшие родственники все москвичи. Иными словами, трудно представить себе человека, более пронизанного духом столицы. Но в 1990-е годы я все более и более стал чувствовать себя инородцем в своем собственном городе. Бывало, проходил по тем или иным улицам и переулкам моего детства, где, что называется, каждый камень тебя помнит. И что? Я не узнавал этих улиц и переулков. И дело было не только и не столько в неизбежных внешних изменениях, сколько в смене самой смысловой ситуации моего восприятия городской среды. Парадокс состоял в том, что я реально почувствовал себя совершенно чужим, «чужаком», в переулках своего прошлого. Эта чуждость постепенно разрасталась и перенеслась на весь город в целом. Внутренне, психологически я словно оказался иностранцем, чуть ли не туристом, в своем родном городе. Более того, я попытался сопоставить мое отторжение от Москвы со своим восприятием Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Токио и всех других знаковых мегаполисов, которые к тому времени неплохо изучил. И там тот же синдром чужака рано или поздно овладевал мною. Признаться, это тревожное и не слишком обнадеживающее состояние души.

И тогда как-то исподволь и как-то постепенно родилась мысль найти точку опоры вне Москвы, вне города как такового. Подмосковно-дачный вариант был отмечен с порога. Хотя обустроенная родительская дача в Вороново всегда была в моем распоряжении, но это было совсем не то. Субурбии представлялись мне ничуть не лучшим вариантом мегаполиса и уж никак не его альтернативой. Требовался радикальный пространственный отрыв от Москвы, дистанцирование, уход в инобытие города без потери своей профессии, разумеется. Опыт внедрения в российские пространства на дальние расстояния у меня был, но весьма фрагментарный и условный, скорее командировочный. Еще в студенческие и аспирантские годы я объездил с лекциями Ближний Север, Восточную Сибирь, Байкал,

Дальний Восток, неоднократно бывал на строительстве БАМАа. Все это продолжил позднее уже и в качестве корреспондента журнала. Так что даже тогда меня трудно было бы назвать сидельцем-москвичом в пределах МКАД. Но тут возникла совсем другая задача: найти локус «выключения» из города и «включения» во внегородскую среду. Начались неспешные поиски точки приземления. С помощью знакомых и сарафанного радио я обследовал Вологодскую область вокруг Тотьмы, другие места. Но каждый раз что-то не клеивалось. Иногда не нравилось место, иногда не было подходящего дома или что-то иное.

Однажды, видя мой поисковый интерес к деревенской теме, знакомые пригласили меня к себе на «дачу» в деревню Медведево на реке Унже в Костромской области в шестистах километрах от Москвы. Помню, как я налегке с небольшим рюкзаком за плечами бодро шагал по проселку от автобусной остановки на трассе Р243 к искомой деревне. Дорога проходила по высоченному берегу Унжи, почти под самым небом с широчайшими горизонтами вокруг. Мой путь шел мимо остатков парка и усадьбы «Отрада», принадлежавшей Н.Д. Апухтиной (прообраз Татьяны Лариной из пушкинского «Евгения Онегина») и ее мужу М.А. Фонвизину, полному генералу, герою Войны 1812 года и видному декабристу. Все это вместе – ландшафт и история – как-то разом воодушевили и вошли внутрь. Приблизившись к деревне и еще даже не видя дома, я принял решение: «Здесь я остаюсь». Так оно и вышло. Огромный рубленый дом, настоящая сельская изба с хозяйственным двором и немалым наделом земли, пустовавшие без хозяев уже два года, быстро перешли в мои руки за «огромную» сумму в 14 тысяч рублей.

Все последующее лето и еще одно после него я провел в качестве студента в «университете сельской жизни», включая ремонт дома, овладение сельскими специальностями и много всего другого. (Тогда же я вполне осознал простую истину: жизнь и работа на земле требуют очень серьезных знаний и умений, отчасти генетически усваиваемых, а также и определенного склада ума. Для горожанина все это загадочно и непросто, и не надо тешить себя утопическими мечтаниями о благостном и пасторальном труде на родной ниве.) Даже костромской диалект поначалу ставил меня в тупик. Я понимал не более шестидесяти процентов того, что мне говорили мои соседи. Приходилось постоянно их переспрашивать. (Теперь я вполне овладел «костромским языком» и люблю время от времени щеголять им на лекциях перед моими студентами.) Да и вообще логика местных жителей порой ставила меня в тупик. Мне не без оснований казалось, что они руководствуются своими ментальными паттернами, отличными от моих. Так оно и было. Помню, как житель соседней деревни без предупреждения появился у меня на крыльце: «Евгенич, я для тебя поросёнка зарезал. Он вона там в машине». – «Так ведь мы не

договаривались ни о чем. Мне мясо не нужно». – «Как не нужно? А на что я буду ребенка к школе готовить, форму покупать и учебники? Ты, Евгений, лучше мяско-то купи. Я дело говорю». И так во всем. Лесть и угрозы, искренняя помощь и нахрапистая обдираловка переходят одно в другое. Чтобы ко всему этому приспособиться требуются время и выдержка.

После приведения дома и всего хозяйства в относительный порядок встал вопрос, что со всем этим делать дальше и чем заниматься в перспективе. Ни к рыбной ловле и охоте, ни к сбору даров природы в тайге, ни к бесцельным прогулкам на природе склонности у меня не было. Тогда что? И тут постепенно стала вызревать концепция научного исследования, а именно изучения и социологического отслеживания проникновения моих излюбленных глобализационных процессов в эти удаленные от мира и забытые богом уголки сельской архаики. Ведь согласно той самой «матрице Покровского» глобализация обладает свойством и силой инфильтрации, просачивания во все клетки общества. Этот вариант теории получил в моем исполнении наименование «клеточной глобализации». Для меня встал вопрос: где же она тут эта глобализация в умирающих деревнях Костромской области в 600 километрах от Москвы на границе бескрайних таежных массивов? Есть ли тут глобализация вообще, где ее признаки (индикаторы)?

Вскоре в обновленный дом ко мне с готовностью стали приезжать друзья и коллеги. И понятно почему, ведь это было так необычно по тем временам, такая экзотика, мало кто мог похвастаться сельской усадьбой на краю света. Эпопею запуска «Угорского проекта» – так потом мы стали называть свою исследовательскую программу – открыли экономисты из МГУ Сергей и Алла Бобылевы, социолог-крестьяновед Валерий Виноградский из Саратова, психолог из МГУ Виктор Петренко, кинооператор Владимир Иванов. Чуть позднее к нам присоединились замечательные социальные географы Татьяна Нефедова и Андрей Трейвиш из ИГ РАН, из НИУ ВШЭ демограф Михаил Денисенко и экономист-географ Сергей Смирнов, социологи из СПбГУ Владимир Ильин и Владимир Козловский, социобиолог из ИПЭЭ РАН Леонид Баскин, экономический антрополог и социолог Ульяна Николаева, социолог из ИС РАН Валентина Шилова. Вот уж действительно междисциплинарность в чистом виде, не по принуждению, а по зову сердца – высокопарно скажем так. Все лидеры и заглавные имена в своих направлениях науки. В шутку я называл своих коллег «профессорским взводом» или «профессорским десантом». Получилась интересная картина. Вокруг сельская архаика, полный разор, а в одной взятой точке этого пространства бьется пульс самой передовой научной мысли. Было от чего прийти в состояние восторга и энтузиазма – от этого контраста и сочетания несочетаемого.

Тогда же на фоне и в контексте Угорского проекта решилась весьма важная тема моей собственной жизни. Подходящий момент сказать об этом. Я женился. Наконец и в кои веки. Супруга моя, Ульяна Николаева – участница наших экспедиций, выпускница истфака, культуролог, социолог, доктор экономических наук, увлеченный исследователь архаизационных процессов в российском обществе. Работает сегодня во ФНИСЦ РАН и также на кафедре народонаселения МГУ. Неизменный участник и соорганизатор наших научных проектов, экспедиций, конференций, нередко мой соавтор, а также и, в первую очередь, вдохновитель моего и нашего научного поиска. Дочь, Ярослава – фактически выросшая в экспедициях в Медведево и в Хвалевском, сопровождавшая нас на всех сельских и международных конференциях – сегодня изящная московская вальдорфская школьница одиннадцати лет. Она, прежде всего, музыкант, арфистка на профессиональном треке в музыкальной школе. Ярослава едва ли будет социологом, так мне кажется. Хотя кто знает? Но патриотом деревни она уже точно стала.

.... В нашем проекте первые годы мы разбирались с тем, что происходило с сельскими общинами, с деревнями, расположенными вокруг нас. Вскоре, однако, стало ясно: идет почти обвальный процесс депопуляции, опустынивания, затухания хозяйственной деятельности, умирания поселений, местные жители за редким исключением находились в состоянии хронической депрессии. И только клинья клеточной глобализации в виде инфокоммуникаций (сотовая связь, интернет, спутниковое телевидение), рынков потребительских товаров, а также центростремительной миграции («сдвинуться с места и бежать, куда глаза глядят, но главное подальше от деревни») пронзали эту картину всеобщего угасания. Вывод этот был настолько самоочевиден, что невольно возникал вопрос: что дальше? что дальше здесь будет? и будет ли что-то вообще?

Но вот на пятый-шестой год работы проекта неожиданно обнаружил совсем иной поворот темы. Деревни всего района по течению Унжи на наших глазах начали медленно, но неуклонно заселяться столичными дачниками, пошли в рост цены на сельские дома, в определенных локациях стали возникать новые дома и даже небольшие поселенческие протокластеры горожан. Что это такое? Откуда это? Надо было отвечать на эти вопросы. У нас (и в первую очередь у меня) стали формироваться различные гипотезы. В целом они вращались вокруг понятий «обратная миграция», «жидкостная миграция» (вариация на тему «текучей современности» З. Баумана), «центробежная миграция», «дезурбанизация», «контрурбанизация», «жизнь после города» и пр. В перспективе замаячила монументальная тема, связанная с выходом мегаполиса за свои границы и «выплескиванием» его во внегородские пространства. При этом новая модель подразумевала не конфликтное отрицание современного города как такового, а именно продолжение мегаполиса в виде его

передовых технологий и его культуры в новой внегородской ситуации с ее очевидными преимуществами экологичности, разреженности населения, свободы самовыражения и самореализации.

Постепенно гипотезы переросли в модели, которые уже стали накладываться на полевые исследования в Костромской и Вологодской областях. Были опубликованы около сотни статей, фундаментальная коллективная монография «Потенциал Ближнего Севера: экономика, экология, сельские поселения» (2014), научно-популярная книга «Ойкумента Ближнего Севера» (2015), коллективная монография «Горожане в деревне» (2016), десятки сборников. Члены проекта вошли в комиссии и экспертные советы при Минсельхозе и других авторитетных учреждениях, постоянно выступают на телевидении, в прессе. К инициаторам и зачинщикам Угорского проекта, чем дальше, тем больше, стал присоединяться более широкий круг исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, отчасти Костромы. Угорский проект наполнился молодежью – студентами, магистрами, аспирантами НИУ ВШЭ, МГУ, СПбГУ.

Каждый год мы стали проводить международные конференции «на сеновалах» (кстати, оборудованных по последнему слову конференцтехники с онлайн подсоединениями со всего мира), собиравших до ста и более участников. Стали множиться наши статьи в российских и зарубежных академических журналах первого ряда. На полках появились наши красиво изданные, увесистые научные монографии. Иными словами, снежный ком проекта стал увеличиваться и обрастать своей инфраструктурой. На нас стали обращать внимание и местные власти. Одну из конференций посетил губернатор Костромской области С.К.Ситников, сделав интересный доклад и в течение всего дня внимательно выслушав все наши сообщения. По-моему, уже нет ни одного российского журнала и интернет-ресурса, которые бы не написали об Угорском проекте. Это приятно. Но важно не растащить тему по частностям, не потерять фундаментальность и глубину подхода, не сделать ее затертой и заполированной (в духе сегодняшнего полуофициального пропагандистского призыва «назад в деревню и малые города», «срочно поднимать сельский туризм» во всех и в каждой деревне и пр.).

Наконец мы замахнулись на суперамбициозный пилотный проект – «Сельский университет на Унже». Составили программу, пригласили именитых коллег из Москвы и из-за рубежа (Джорджа Тсобаноглу из Греции, Валерию Завилски из Канады, Карл Брукмайер из Германии. Имелось в виду, что учебный процесс высокого университетского уровня можно весьма эффективно вести во внегородском кампусе, максимально приближенном к природной среде. А зачем это делать? Нам виделось, что университет должен и может разорвать рутину своей городской повседневности, что в итоге должно

привести к какому-то совершенно новому качеству учебного процесса и создаст благотворную атмосферу в коллективах. Внегородские пространства удивительно трансформируют сознание человека и устремляют мысли к «высшим законам» (Генри Торо). В офлайн программу лекций и коллоквиумов мы включали и онлайн подсоединения с коллегами-профессорами, тем самым создавая единое образовательное поле задолго до того, как концепция онлайн пришла в наши университеты, а в условиях пандемии и вообще превратилась в мейнстрим. То есть в едином комплексе объединялись и исследования международного уровня, и экспедиции, и учебный процесс.

Угорский проект продолжается. Он поднял на-гора концепцию удаленного внегородского поселенческого и университетского кластера с коридором выхода из мегаполиса. В общих чертах обрисован научно-рекреационный и экологический кластер по течению реки Унжи. Задача ныне состоит в том, чтобы убедить сферы, принимающие решения, в необходимости и насущности его реализации. Проект подразумевает и создание нового атласа территорий России (хотя бы одной территории) с обозначением других потенциально перспективных поселенческих кластеров, отвечающих строгим требованиям дезурбанизационной постиндустриальной матрицы. Мое давнишнее разочарование в Москве и городе как таковом естественным образом трансформировалось в позитивную программу поиска альтернатив городу при сохранении всего лучшего, взятого из города, и при возможном «обнулении» его недостатков (если не сказать его пороков). В нашей программе, насколько мне дано судить, соединилось все, что накопилось во мне за все годы – это и экологическая философия Генри Торо с его концепцией уединения и замедления жизни, и жесткая теория мертоновского функционализма, не терпящего рыхлого умствования, и теория клеточной глобализации, и «текущая современность» Зигмунда Баумана, и социальное проектирование поселенческих кластеров. Хочется верить, что все это в совокупности создает единый континуум идей и практик.

Ваше имя нередко связывают с концепцией «смерти интеллигенции». Как и из чего это произошло?

Все это началось еще в 1990-е годы. Как каждый нормальный человек я глубоко переживал тот ущерб, который понесла вся культура интеллигенции в тот период. Как-то очень быстро представители «умных» профессий потеряли авторитет в глазах общества и в своих собственных глазах, часто превращаясь в обслуживающий персонал или же просителей с протянутой рукой. Сами понятия «ученый», «профессор» и даже «академик» в общественном мнении начали все чаще вызывать реакцию: «Ну и что тут такого? Подумаешь». По инерции еще имел хождение термин «интеллигенция», но для меня он все

больше и больше терял социологический смысл. Социальная группа, выросшая из духовной жизни российского XIX века и прошедшая испытания века XX, вдруг словно растворялась, мимикрировала, теряла свой набор ценностей. Так мне все это виделось.

В 1995 году меня пригласили на конференцию в Университет штата Орегон в далеком городе Юджин, недалеко от Тихоокеанского побережья США. Приглашение пришло от моего старинного приятеля видного американского историка философии Джона Стура, возглавлявшего в Университете Орегона философский факультет. Причем межфакультетская конференция была посвящена российской интеллигенции – надо же? Обнаружилось и еще одно любопытное обстоятельство. Главным докладчиком на конференции был не кто иной, как Андрей Данатович Синявский, который вместе с Марией Васильевной Розановой коротал в Юджине «срок» своей творческой стажировки, перемежавшейся чтением отдельных лекций для студентов. Складывалась прямо-таки фантастическая ситуация. Синявский, Розанова и я в глубоко провинциальном американском университете, затерянном в северо-западном захолустье США. И при этом наши дискуссии о российской интеллигенции – это и фон и содержание ситуации. Подготавливаясь к поездке, я принялся за текст и набросал план. Истоки интеллигенции и ее нравственные основы, отличие интеллигенции от западных интеллектуалов (тут мне снова помог Мертон с его главой о роли интеллектуалов в бюрократических структурах), интеллигенция накануне и сразу после 1917 года, пять паттернов отношения или приспособления интеллигенции к советскому строю и, наконец, интеллигенция в России сегодняшнего дня, а также перспективы того, что с интеллигенцией может случиться в будущем. Пасьянс идей вроде бы сложился в единую схему, увенчанную простым выводом: в истории те или иные социальные группы приходят и уходят (например, дворянство, казачество, разночинцы), они имеют период и траекторию жизни и смерти; исторический потенциал российской интеллигенции фактически исчерпан, и она так или иначе трансформируется в направлении рыночно ориентированного западного интеллектуализма.

...Мой доклад, следовавший на открытии конференции сразу за докладом Синявского, он и Розанова выслушали без восторга и с легкими замечаниями в мой адрес. Как я понимаю сейчас, их совсем не вдохновлял мой тезис о естественной смерти интеллигенции. Чисто по-человечески они – плоть от плоти русские, российские интеллигенты – были не готовы умирать, хотя бы и фигурально выражаясь. И мои рациональные социологические аргументы тут были бессильны. Итак, мы выслушали друг друга и спокойно остались каждый при своем мнении.

Но тут в середине конференции случился казус. По бедности программы меня поселили не в гостинице, а на частной квартире. На второй день я понял, что моя

престарелая хозяйка явно вошла в соприкосновение с психиатрией, и мне не следует оставаться в ее доме. Стал обсуждать эту проблему с организаторами конференции. Разговор краем уха случайно услышала Розанова. «Вы будете жить у нас в доме!», – заявила она в своем излюбленном и известном всем приказном стиле. Так я на несколько дней поселился у Синявских. Такое нечасто бывает в жизни. Как ни странно, мы общались не так много. И Андрей Данатович, и Мария Васильевна в промежутках между заседаниями конференции и по вечерам не отрывались от письменного стола. Изредка Синявский выходил в садик покурить и... помолчать. Я присаживался на скамейку и... тоже погружался в молчание. Мысли Синявского, как я понимаю, были очень далеко – в текстах, в рукописях, в журнале «Синтаксис». Так, почти беззвучно, мы коротали время. Но сегодня, как мне кажется, молчание на скамейке в Орегоне рассказало мне о Синявском и российской интеллигенции больше, чем могли бы рассказать бурные дискуссии. Великий Интеллигент Абрам Терц даже своим молчанием передавал некие невербальные смыслы, которые были для меня дороже золота. Через два года он умер.

Я, воспламенившись воспоминаниями о той конференции, вскоре написал статью-подвал в НГ–Сценариях «Независимой газеты» на смерть Синявского и смерть интеллигенции вообще. Статья вызвала смешанную реакцию, но реакцию очень бурную. Мой текст возбудил общество. Меня цитировали налево и направо, в основном, не соглашаясь с автором. Мол, интеллигенция не может умереть, потому что она не может умереть никогда, потому что она вечна и неизменна, а Покровский неизвестно кто. Лишь Ж.Т. Тощенко занял более сдержанную и взвешенную позицию. Со временем у себя в РГГУ он начал проводить ежегодные конференции по российской интеллигенции с непременным приглашением меня в качестве присяжного спикера. Если окинуть единым взглядом всю десятилетнюю дистанцию этих конференций, то можно понять, что сами эти конференции вне зависимости от разнообразия высказывавшихся точек зрения, косвенным образом фактически проводили замер температуры «тела» интеллигенции как группы или же снимали ее кардиограмму. Конференции ежегодно продолжаются и до сего дня; очередная, как я понимаю, будет в апреле 2021 года. Концептуально участники вроде бы не встали на мою позицию, но всякий раз ее благосклонно выслушивают и размышляют, проецируя тезисы Покровского на то, что происходит за окном Российского государственного гуманитарного университета. И что же в итоге? Она жива или нет? Что скажут «врачи», то бишь социологи? Боюсь, что Покровский, к несчастью, притом несчастью собственному, оказался прав по всем статьям. Ему, по существу, уже никто и не возражает. Увы.

За Вашими плечами без малого 50 лет преподавания в системе высшего образования. Это, можно сказать, жизнь, прожитая в университете. Что изменилось за это немалый исторический срок в мире высшей школы?

Что изменилось? Да почти все изменилось, если быть откровенным. По внешности многое еще хранит черты традиционности – здания, аудитории, библиотеки, звания-должности, названия подразделений и пр. – по существу же, в социологическом смысле это другая система. Из советского вуза, ковавшего рабоче-крестьянскую, трудовую интеллигенцию, мы попали в вуз, в общем и целом, сориентированный на экономическое выживание и самоукрепление. Радикальные институциональные трансформации 1990-х годов в России в первую очередь затронули политику и экономику. Казалось, об университетах позабыли, там шла тихая повседневная жизнь, наполненная заботами о выживании. В социологическом плане можно сказать, институты высшего образования и культуры запаздывали. Вернее, до них просто не доходили руки. Но, согласно принципам социологии, и эти сферы должна была рано или поздно отреагировать и радикально изменить свой статус, свои функции в обществе. Что, собственно говоря, и произошло, правда, с определенным временным лагом. Вплоть до первых лет 2000-х годов казалось, что высшее образование не затронуто коммерциализацией в своем ценностном ядре, вообще останется неизменным, словно застывшим в пространстве и времени.

Юмористический эпизод, в чем-то характеризующий атмосферу накануне решительного штурма. ...Кажется, это был мой первый год работы в Вышке. Все казалось мне вокруг просто нереально замечательным. Свобода творчества и формирование учебного процесса. Все предложения проходили на ура. Приглашенные работать на кафедру коллеги оформлялись одним росчерком пера на их заявлении и только на основе твоей рекомендации, и уже на следующий день они работали в полном штате с достаточно приличной по тем временам зарплатой. Но особенно привлекательной и завлекательной была сама атмосфера в стенах университета. Лучшие специалисты, большие имена в своих сферах науки, собранные в ВШЭ, создавали своего рода сообщество профессуры, можно сказать, ренессансный двор Лоренцо Великолепного. Все друг друга знали, постоянно общались по тем или иным поводам и, главное, слушали, прислушивались друг к другу. Это было столь неправдоподобно, что я постоянно испытывал желание ущипнуть себя: наяву я живу или уже вознесся к небесам.

...Достаточно поздно вечером после лекции я проходил по коридору третьего этажа Мясницкой, 20 – ректорский этаж, святилище управления университетом. Навстречу мне идет ректор Ярослав Иванович Кузьминов. «Никита Евгеньевич, как Вы? Как дела на

кафедре? Заходите, поговорим». Усаживает в своем кабинете в глубокое кресло «для задушевных бесед». Рядом на стене грифельная доска, сплошь испещренная квадратиками и графиками. Беседа идет о том, о сем. Ректор с озабоченностью озирается вокруг. «Вы не голодны? А мне вот чего-то хочется закусить». Зовет секретаря: «Позовите, пожалуйста, водителя». Приходит водитель: «Можете слетать в «Макдональдс» на Покровке? Это пять минут отсюда. Никита Евгеньевич, вам что привезти, БигМак или двойной чизбургер?». Беседа неспешно идет дальше. Вскоре в кабинет входит коллега с экономического факультета. Его тоже усаживают в кресло. Беседа меняет русло и затрагивает глобальную тему «наш университет в общем и в будущем». Появляется водитель, передает ректору заказ из «Макдональдса». Ректор заглядывает в коричневый пакет. Там два гамбургера и всего остального понемногу. Но гамбургеров два, а собеседников три. Как тут поступить? Неразрешимая математическая задача. Ректор решает проблему просто. Ножа под рукой нет. Он отламывает от каждого гамбургера по половине и составляет из половинок третий. Вот такая тогда царил атмосфера.

Другой эпизод. 2004 год. Делегация Национального фонда подготовки кадров (НФПК) отправляется в США для изучения опыта преподавания социальных наук, и социологии, в первую очередь, в головных университетах Америки.

В те годы я принял от В.А. Ядова руководство экспертным советом НФПК по социологии. Бесконечные экспертизы конкурсных проектов, новых учебных программ по всем разделам социологии, учебников, хрестоматий, заявок на конференции, командировок. Работа была интересная, позволявшая быть в самом-самом центре возникновения новых форм преподавания. И тут предстоит посмотреть, как это обстоит в США. По иронии судьбы американские распорядители поездки опустили всю программу на университеты Северной Каролины – Дюкский и Университет Сев.Каролины в Чепел-Хилле – именно там я провел свои весьма продуктивные 1989–90 годы. Получалось, для меня это возвращение на более чем десять лет назад в среду, которую я хорошо и даже очень хорошо знал. Однако было нечто совсем новое. Если прежде я в основном вращался на уровне образовательного процесса, преподавания и преподавателей, то в этот раз предстояло познакомиться с университетами с высоты полета птицы, встретиться с ректорами, проректорами, деканами – раньше этого в моей практике почти не было. Такова была совместная идея организаторов и в Москве, и в США.

С утра до вечера нас потчевали застольными беседами и дискуссиями с «начальством» всех уровней за круглоовальным столом. Честно говоря, для меня все это было невыносимо тяжело, прежде всего физически – целый день сидеть сиднем взаперти в помещениях без окон, хотя и с кондиционерами. Да и менеджерский дискурс меня

несколько тяготил – интересно, но в разумных пределах. Ведь я не менеджер, а социолог. И только по вечерам иногда случались встречи с профессорами за ужином в ресторанчиках. Здесь я вновь повстречал много старинных друзей из тех самых далеких прошлых лет. Это было и смешно, и трогательно. «Как все они изменились, – думал я, глядя на них. – Те же лица и уже не те. Но, надо понимать, изменился и я. Подозреваю, что мои коллеги-знакомые из США думали обо мне что-то похожее. Да, мы все изменились. Стали старше, более умудренными. Ушло эйфорическое обаяние эпохи «смерти истории» и «Горби». Пришло что-то совсем другое.

Итак, я лошадиными дозами впитывал доносимые до нас истины устройства головных университетов США. Шаг за шагом складывалась любопытная картина, которую прежде я не до конца осознавал. Менеджеры высшего университетского звена вежливо, но без экивоков рисовали перед нами картину, «как надо» строить университет. Нам делали инъекции лошадиных доз менеджериальных принципов. Если кратко, резюмируя, по пунктам. Университет (неважно какой, частный из высшей «плющевой лиги» или городской, государственный штатный – какой угодно) – это прежде всего экономическое «тело». Университет должен экономически выживать и, по возможности, финансово расти, а также управляться финансовыми инструментами. Каждое подразделение садится на свой отдельный бюджет – выживет – не выживет – это его проблемы. Это первое и главное. Все остальное на потом. Показатели роста – эндаумент (накопленный капитал), число студентов, радость родителей, восторг работодателей. А профессура? Это ее проблемы, как вписаться в эту схему. За порогом университетов стоят многочисленные безработные носители степеней Ph.D., которые готовы работать на любых условиях. Они тут же заменять выпавших и несогласных.

Внутри университета все управляется высшей рациональностью менеджериальных показателей (KPI) – число записавшихся на курс студентов, их отзывы о профессоре, количество публикаций (“publish or perish”), объем привлеченных извне средств в университет на исследования (гранты), профессиональные премии высокого уровня, повсеместное внедрение многочисленных технических средств обучения (цифровизации тогда не было и в помине), еще какие-то мелочи и... и, пожалуй, в основном все. Правда, в отдельных случаях допускалось создание точечных экзотических «оранжерей» чистого и эксклюзивного знания, сформированных вокруг лауреатов Нобелевской премии и им подобных. Это бренд фирмы. Но в целом университеты перепрофилировались на конвейерную сборку компетенций, в которой решающую роль начинают играть формализованные показатели эффективности. То есть, по большому счету, университеты,

быть может, с некоторыми вариациями точно перенимали дух и букву устройства корпоративного бизнеса.

Слушая эти речи, я мысленно проецировал их на свой прошлый опыт в американских университетах и колледжах. Все постепенно упорядочивалось в моей голове. Я вспоминал, как в ходе моих стажировок и моей преподавательской деятельности неожиданно, в одночасье исчезали из преподавательского состава, казалось бы, благополучные американские коллеги. Со временем выяснялось, что их программы, подразделения, лаборатории просто закрывали по тем или иным причинам, чаще всего бюджетным. Лучший способ сокращения расходов, не нарушая контрактных обязательств по отношению к преподавателю. «Нет программы, подразделения – нет и человека». Никто и не протестовал, насколько мне было известно, – закон бизнеса есть закон. Вспоминал, как многие весьма благополучные американские коллеги-профессора начинали утро в своем кабинете с просмотра свежего выпуска газеты «Хроники высшего образования» и притом с ее последнего раздела – объявлений об открытии вакансий. И если вдруг светила конкурсная преподавательская позиция с относительно более выгодными условиями, то немедленно одним кликом на компьютере отправлялось резюме в этот университет, неважно как далеко расположенный. Переезд занимал пару недель, и человек исчезал из поля зрения. Это превратилось в совершенно рутинную процедуру «веерного» выживания на рынке образовательных услуг – циркуляция рынка и его постоянное перемешивание.

Вспомнилась мне тогда книга моего друга, теперь уже возглавившего философский факультет в Университете Эмори в Атланте, философа Джона Стура «Генеалогический прагматизм». Одна из глав этой замечательной книги была посвящена анализу нового явления – корпоративизации гуманитарных наук (Humanities, Inc. – так было сформулировано название этого явления). Вспомнилась и знаменитая концепция «МакУниверситета», предложенная Джорджем Ритцером в его книге «Макдональдизация Америки», ставшая и классикой, и бестселлером. Вспоминались, казалось бы, разрозненные факты закрытия в американских университетах социологических факультетов и слияние их с самыми различными другими направлениями, скажем, по маркетингу и анализу международных рынков. Маркетизация американских университетов по указанным выше принципам, в моем видении, зримо контрастировала с монументальными архитектурными комплексами (кампусов), дышавших историей, фундаментальностью и, я бы сказал, храмовостью святилищ науки. Теперь же архитектурно, эстетически новая ситуация, скорее, требовала заводских и фабричных построек. Но это к слову сказать.

...В ходе все той же поездки я встретился и с Эдвардом Тирикьяном, с которым познакомился и подружился еще пятнадцать лет назад. Теперь же встреча наша произошла

в роковой для него день. Великий социолог, носитель высокой социологической культуры и рефлексии покидал Дюкский университет и переходил в разряд «почетного профессора» (на пенсии). ...Эдварда я застал в его рабочем кабинете за разборкой и упаковкой своего книжного собрания. Я поспешно принялся фотографировать книжную полку (это же исторический артефакт!), на которой почетное место занимали книги его учителя Питирима Сорокина. Следующий кадр: на письменном столе по-прежнему, как и 15 лет назад, красовалась деревянная табличка с гравировкой: «Беспорядок на столе прямо пропорционален гениальности хозяина стола». И, наконец, я делаю моментальный снимок-портрет самого Тирикьяна. Немного усталая, добрая улыбка, человека, поднявшегося до вершин осмысления мира. Уходило поколение мэтров. И в социологии тоже. Во всем этом для меня была своя символика.

Словом, весь этот комплекс новых впечатлений и идей, донесенных до нас американцами открытым текстом, складывался в некую картину смены эпох в университетском образовании – уход с исторической сцены гумбольдовского университета, просветительского «храма знаний», генерировавшего культурный слой общества, да и интеллигенцию, как ее ни называй, и прихода на его место совершенно иной системы университетского образования с новыми участниками процесса, новыми ценностями и профессиональными ориентирами. Притом этот переход «от» «к» носил характер тотальности. Куда ни кинь взгляд, в поле высшего образования, в США всюду формировалась нечто безальтернативно подобное, в той или иной степени. Что называется, «процесс пошел». И во всем мире тоже. Но в России же в те годы он пока еще неявственно обозначал себя.

По возвращении в Москву я сел за стол и обобщил свои впечатления в статье «Корпоративный университет: утопия, антиутопия или реальность?», в которой в меру своих возможностей, что называется, разложил по полочкам компоненты этой новой модели. Статья оперативно прошла по интернету, а через год в существенно переработанном виде была напечатана в академическом журнале (Н.Е.Покровский. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений // *Общественные науки и современность*, 2005, №4, 148–154). Как я понимаю, моя публикация появилась раньше своего времени, что уже стало традицией в моей биографии. (В терминах Мертона, это можно было бы назвать *pre-discovery* т.е. открытие, опережающее свое время, несвоевременное открытие.) Статью прочитали, но по понятным причинам восторга она не вызвала – ни у кого. Содержание было непривычным, для многих неудобоваримым, идущим наперекор вековым устоям российских университетов. И хотя я выдержал абсолютно нейтральную интонацию в своем тексте и согласно принципам

социологии, в том числе и моим собственным убеждениям, лишь излагал факты и соединял их в единую модель, объяснял действие «механизма», его принципиальную схему, – многие весьма уважаемые читатели заподозрили меня в ангажированности и даже зловредной пропаганде. Ничего страшного для себя я в этом не находил, научная полемика она ведь и есть полемика. Однако прошло совсем немного лет, и мои критики, надеюсь, смогли убедиться на практике в том, что мое раннее предупреждение было продиктовано чисто научными соображениями, свободными от ценностей, и ничем иным. Впрочем, одно можно было сказать тогда и повторить сегодня. Университеты в том числе российские, перестали воспроизводить интеллигенцию как таковую. Они о чем-то другом. Повестка дня и философия интеллигенции растворились в небытии сами собой. По-моему, это так. Кто-то видит в этом историческую трагедию, большинство вообще не понимают, о чем речь и что это за вопрос такой. Хотелось бы сказать поминально и элегически «печаль моя светла», но нет, это не элегия, а чувство утраты, происходящей у тебя на глазах. Успокаиваю себя тем, что позиция социолога-наблюдателя – будь то дискуссии об интеллигенции или судьбах университетов – дает удивительно ценный, сам по себе, повод проводить анализ «магнитных полей» общества, расклада социальных сил и траекторий формирования тех или иных феноменов. Все предстает почти, как на ладони. Для меня в этом состоит одна из привлекательнейших и притягательнейших свойств социологии – видеть распределение социальных ролей, игру интересов, большие тренды общественного развития, в перспективе гамму последствий позитивных и негативных. Думаю, что социологи в этом отношении обладают уникальной миссией в обществе.

Вы возглавляете Сообщество профессиональных социологов. Какие результаты его работы Вы считаете наиболее важными? Каковы перспективы?

На развалинах Советской социологической ассоциации в бурные перестроечные годы родилось несколько социологических объединений, в том числе и Профессиональная социологическая ассоциация. В самом конце 1999 года А.Г. Здравомыслов, почти потечески опекавший меня и возглавлявший к тому времени Профессиональную социологическую ассоциацию, завел со мной разговор о передаче мне президентства в этой организации. Тут подоспело требование Минюста перерегистрировать ассоциацию и ее переучредить. Программа и устав с небольшими изменениями сохранились в прежнем виде. Но название она получила новое – Сообщество профессиональных социологов. Я не открою большого секрета, если скажу, что СоПСо (такой стала неформальная аббревиатура) представляла собой среду обитания знаменитых социологов-шестидесятников, стоявших у истоков возрождения социологии в Советском Союзе и в России – Т.И. Заславская,

Ю.И. Левада, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан, Б.А. Грушин, И.С. Кон, Н.И. Лапин, В.А. Ядов и другие.

Из полулегитимного статуса в позднем СССР наши отечественные носители социологического этоса сразу же шагнули на просторы перестройки и расцвели под лучами всеобщей любви и востребованности, притом на самом высоком уровне государственной иерархии. Социологию, и особенно социологию в их исполнении, полюбили все, и, я бы сказал, более чем заслуженно. И вот СоПСо превратилось в формально/неформальный клуб работавших в самых различных институциях социологов-шестидесятников. Здесь все понимали друг друга с полуслова. Наши классики могли чувствовать себя среди своих, молодые социологи учились у них, перенимая не только конкретные знания, но, прежде всего, коды «расколдования» окружающего мира научными и только научными методами, высоконравственное отношение к науке социологии и крайне требовательное отношение к себе.

Но не стоит думать, что жизнь вокруг СоПСо была столь благостной. Время от времени на поле российской социологии и уже особенно в 2000-е годы стали проявляться явные признаки ее огосударствления, попытки поставить социологию в некое подчиненное и страдательное положение по отношению к требованиям политических институтов и погрузить ее в среду социальных мифов. И здесь СоПСо в полном составе и с классиками-шестидесятниками во главе, используя весь их авторитет, входило в недвусмысленное противостояние этим тенденциям. Было ли успешным это противостояние? В чем-то да, в чем-то нет. Но слово истины было произнесено и открыто заявлено от лица СоПСо. И это само по себе немало. Поэтому я абсолютно признаю и подчеркиваю шестидесятнические корни СоПСо и горжусь тем, что так или иначе наша организация сегодня продолжает их дело в той мере, в какой это возможно.

В связи с этим не могу не привести любопытный, почти юмористический факт. Не так давно на просторах интернета я случайно наткнулся на упоминание моего имени. Некий молодой социолог модного ныне порхающего «разговорного жанра» – бесконечный youtube, лекции в кафе с веерным цитированием всех возможных зарубежных имен – размашисто заявил на публике: «Покровский полностью устарел. Он весь в шестидесятых годах прошлого века». Вначале меня эта петушина беспардонность покорила. Но вскоре я осознал, что молодой «коллега» сделал мне, не подозревая того сам, большой комплимент. Быть наследником шестидесятников — это и честь, и ответственность, и жизненная позиция. Позиция видеть в социологии науку, обращенную к реальному миру, быть в каком-то смысле продолжателем дела Мертона, если не буквально, то по сути. А

вопрос о старомодности и «модерновости» в современной социологии представляется мне крайне сомнительным по самой своей постановке.

Не будем скрывать, многое изменилось в современном восприятии наследия 1960-х в российской социологии наших дней. «Позитивизм» превратился для многих молодых чуть ли не в клеймо позора. Теперь все хорошо, все принимается, кроме пресловутого «позитивизма». Помню, как в начале 2000-х на маргиналиях московской и петербургской социологической тусовки тускло мерцали слабые угольки постмодернизма. В полголоса произносились имена Бодрийяра, Лиотара, Делёза. Но с особым пиететом звучало имя Фуко. Однако все это были изолированные группки нарочито «продвинутой» социологической молодежи, ни на что не влиявшей и ничего не определявшей, а в основном эзотерически погружавшейся в новомодные философско-культурологические тексты с их «птичьим» языком, порожденным, однако, совсем другой европейской интеллектуальной и культурной средой. Тогда было трудно предположить дальнейшее развитие событий. На повестке дня, в том числе и СоПСо, стояло противостояние мощно окопавшейся в некоторых университетах и исследовательских институтах номенклатурной социологией, слепленной по лекалам Высшей партийной школы из прежней эпохи и жаждавшей, как манны небесной, новой идеологической модели, спущенной сверху взамен оставленной в советских временах. Но прошло время, прошли годы. И многое поменялось в ландшафте российской социологии. Переместились на задний план и вовсе скрылись за кулисами академики с генетикой из ВПШ. Новая идеология, которую они так ждали и которую выпестовывали, не случилась, «не проросла». Но зато поле социологии стали захватывать делёзовцы и бодрийяровцы. Они подросли, встали на ноги, окрепли умом и телом и поняли, что их час настает.

Здесь хочу сказать несколько слов о понимании мною и только мною сути того интеллектуального явления, которое обозначается сегодня обобщенным термином «постмодернизм» с его различными вариантами и ответвлениями. Внешне постмодернизм предстает, особенно в глазах неискушенной молодежи, как предельно демократичное и вдохновляющее направление мысли – «деконструирующее» реальность, ломающее привычные способы концептуализации мира, открывающее множественность смыслов и бесконечность интерпретаций применительно к любой ситуации и к любому явлению. В общем – глоток свежего воздуха, ветер перемен, озон в затхлой атмосфере рутины. Но не все так просто. Озон в больших дозах, как известно, яд.

Истоки постмодернизма, на мой взгляд, восходят к философии начала-середины XX века, когда начали утверждаться эмпиризм, эпистемологический релятивизм и антитеоретизм. Нео- и постпозитивизм, аналитическая философия, собственно

«постмодернизм» объявили о радикальном отказе от традиций классической философии и классической рациональности (в том числе и от центрального понятия теории познания – «истины»). «Суждения» были заменены на «высказывания», обоснования – на «интерпретации». (Вот, например, характерное высказывание одного из основоположников логического позитивизма Рудольфа Карнапа: «Неумолимый приговор новой логики гласит: все прежние философские системы, связаны ли они с именами Платона, Фомы Аквинского, Канта, Шеллинга или Гегеля, а также новая «метафизика бытия» или «философия наук о духе» не только ложны с точки зрения содержания, но и логически несостоятельны, а поэтому бессмысленны» (Карнап Р. Старая и новая логика // Журнал «Erkenntnis». Познание. Избранное. М., 2006. С. 106.) Безапелляционность и агрессивность стали «визитной карточкой» борцов против классики, а ниспровержение ими якобы «тоталитарных» Просвещения и классической немецкой философии в итоге обернулось, на мой взгляд, таким же тоталитаризмом, но только вывернутым наизнанку. Эпистемологический релятивизм лежит в основе позиций популярных сегодня П. Фейерабенда, Т. Куна, К. Поппера, И. Лакатоса, У. Куайна и многих других представителей так называемой «неклассической» и «постнеклассической» философии. При всех особенностях эта же идейная линия воспроизводится в «постмодернистской» социологии М. Фуко, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Ж. Лиотара и многих других. Для усиления разрыва и разрушения шаблона был создан и новый философский язык: «деконструкция», «дискурс», «нарратив», «текст», «метафора», «языковые игры», «шизоанализ», «миф», «ризома» ... По этому языку, как птицы в лесу по щебету, постмодернисты сразу отличаются своих от чужих.

Релятивизм в научном познании, и социологии в том числе – коварная вещь. Если объективной реальности нет, и истины, соответственно, нет, и никаких ориентиров познавательных ориентиров тоже нет – то любые конструкции сознания равноценны. И тогда нет принципиальной границы между наукой и идеологией, исследованием и искусством, понятием и метафорой, теорией и мифом. Реальности нет, есть только тексты, нарративы... И все может и должно быть подвержено деконструкции, по всему должен пройти каток «фальсификации» (К. Поппер), а крупные философские/социологические теории («мета-нарративы») разрушены (Ж. Лиотар).

Почему постмодернизм стал так популярен в России? А произошло это, по моему мнению, во многом по внешней причине. Ударили тучные нефтяные годы и в полную силу до самых до окраин развернулось общество потребления. Включились телевизионные каналы сплошного покрытия территорий. Потребовалось отключить общество от всех возможных раздражителей, снять проклятые вопросы родом из Маркса, навеять «сон

золотой» всему социуму. И в этой связке факторов заявил о себе постмодерн с его полной и нарочитой деконструкцией социального, комфортизацией и уютизацией мира своего Я. Под рукой, как нельзя кстати, оказались отечественные постмодернисты с их уходом в субъективность как высшую инстанцию, конструированием реальности из фракталов абсурда и превращение всякого дискурса в чистую игру смыслов и конструирование некоей реальности, не релевантной тому, что мы, фигурально выражаясь, видим за окном. Все заволочено туманом социальной неопределенности и конечной недосказанности. Кто? Когда? По причине чего? В интересах кого? С какими последствиями? И т.д. На эти вопросы нет ответа и эти вопросы даже не ставятся. По большому счету, постмодерн создавал на российской почве удивительно благостную среду обитания для своих сторонников. Эзотерические группки рефлектирующих молодых интеллектуалов, не воспринимавших другие смысловые языки общения, кроме, скажем, языка Фуко и Деррида. Сформированный язык и канон из 15–20 книг все тех же французских авторов, становились фильтрами вхождения в замкнутую группу. Этим процессом можно было просто залюбоваться – настолько он соответствовал хрестоматийным принципам социологии формирования социальных групп.

«Эстетичность» российского постмодерна естественным образом подразумевала также снятие кардинальных социологических вопросов. Проблемы социальной структуры, неравенства, социальных конфликтов и противоречий, насилия, отчуждения, экономического интереса – вслед за ростом авторитета постмодернистов стали на глазах исчезать уже на уровне студенческих работ, не говоря о более высоких этажах иерархии профессионального сообщества. Припоминаю любопытный, но достаточно типичный эпизод. Студент-социолог приносит мне на отзыв свою работу, посвященную «паттернам общения молодежи в московских кальянных». (Масштабность и социальная значимость подобной темы более чем типичны.) Беседуем, обсуждаем. Всепоглощающий интерес молодого человека фокусируется на том, как возникают сетки общения в кальянных, как дешифруются и интерпретируются взгляды, зрительные контакты, реплики, нарративы, какова эмоциональная атмосфера в этих заведениях. Спрашиваю: «Сколько кальянных в Москве? Есть ли у них сетевой владелец? Сколько стоит провести вечер в кальянный и каков источник этих средств у молодых людей?». Мой молодой собеседник в замешательстве. Задаю следующий вопрос: «А каков ежедневный доход владельцев заведений? Кто они, откуда? Существует ли ненормативная сторона в работе кальянных, связь с теневым бизнесом и теневыми группами?» Студент-социолог не понимает, о чем я и что со мной вообще происходит (именно со мной!), ведь мои вопросы вообще из другой оперы, и они не соответствуют его взгляду на мир сквозь «призму» своего бескрайнего Я.

Описательность, измельченность тем и бесстрастная повествовательность превратились в основной модус самовыражения для многих социологов. Надо отметить, что Институт социологии РАН (и в этом большая заслуга в том числе его организационного «ядра» – М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, М.Ф. Черныша, П.М. Козыревой и других) – все эти годы стремился сохранить классическую социологическую традицию в исследовании проблем российского общества. И не боялся быть в этом, так сказать, «несовременным», обнаруживая современность более высокого ранга.

Справедливости ради напомним и то, что в аутентичном варианте французского постмодерна можно встретить немало ярких, почти гениальных метафор, лежащих на нашу и не нашу действительность и словно схватывающих ее противоречия. Все так. Но постмодерн на российской почве как-то неожиданно превратился в стратегию самолюбования, самовозвеличивания, отключения от всего внешнего, кроме внутреннего Я своего носителя и принципиального отказа от общей теории. И перед СоПСо вновь, пусть и не прямо, возникло нечто, с чем нельзя соглашаться в профессиональной среде, особенно в молодежной, да и в любой другой научной среде. Мне, кажется, позиции должны быть обозначены. Это отнюдь не повод для навешивания на оппонентов ярлыков, не повод для запретов и цензуры (даже смешно говорить об этом). Но это вопрос профессиональных принципов, в конце концов.

Что вы думаете о ближайших перспективах развития социологии в России и в мире?

Выражу свое весьма субъективное мнение о будущем социологии в стране и мире. Увы, оно представляется мне отнюдь не безоблачным. Упоение социологией со стороны российского общества, столь характерное для 1990-х, прошло. Все чаще и чаще можно слышать даже в, казалось бы, образованных кругах мнение: «Социология? А зачем она нужна? Знаем мы ее. В ней все сманипулировано». Таковы нередкие шаблоны в общественном мнении и плата за использование социологии как вненаучного инструмента. Откуда это? Почему так? Видимо, дают себя знать отход от научной картины мира и налет обскурантизма на фоне навязчиво тиражируемой мантры о всеобщей цифровизации, при которой big data заменит социологический интеллект, и профессия «умного» социолога умрет сама собой за ненужностью, а все будет определяться запуском той или иной компьютерной программы.

Увы, социологическая культура с ее рационализмом, сложностью и научностью, о которой мы мечтали еще совсем недавно и которая виделась нам «шагнувшей в массы» и заменивший собой пресловутое «голосование сердцем» в широком смысле слова, не обрела

должного статуса в обществе. Она по-прежнему составляет удел специалистов, число которых отнюдь не увеличивается. Да и наши студенты-аспиранты далеко не всегда устремляют себя в сферу науки и социологической экспертизы. Их сплошь и рядом манят иные сферы прикладных исследований, не подразумевающих общесоциологического взгляда на мир, а нацеленных на узко обозначенный прикладной результат – и ни шагу влево, ни шагу вправо. Подчас даже возникает тема сохранения наследия социологов-шестидесятников и как такового классического наследия в социологии. Обозначают себя контуры поднимающейся социологии без общетеоретического фундамента, а скользящей по поверхности и отбрасывающей «неудобные» проблемы.

Возникает внутренний вопрос: происходящее сегодня в социологии — это эпизодическое отклонение траектории, после которого последует новый подъем, или это нечто совсем иное, некое новое агрегатное состояние науки без берегов и ориентиров? Мне кажется, что в любом случае нет смысла строить иллюзии на счет светлого будущего социологии и провозглашать здравицы. За будущее еще придется побороться и на него предстоит поработать. И, наверное, в этом как раз и могут состоять очередные задачи Сообщества профессиональных социологов.

Мир вокруг нас стремительно и турбулентно меняется. Новейшие технологии, пронизывающие социальное пространство, подчас соседствуют с возвратным движением к архаизации и мифотворчеству, социальные конфликты разгораются в самых непредсказуемых локальностях, пандемия переворачивает социум с ног на голову... Как разобраться без социологии во всем этом разнообразии трендов и феноменов? Никак. В противном случае придется идти наощупь, по принципам самолечения совершая ошибки на каждом шагу. «Больной отказался от госпитализации» – именно так сплошь и рядом поступают общества, включая и российское, высокомерно отвергая социологический анализ. Последствия этого будут печальны.

Традиционный вопрос о Ваших планах?

Мои планы... Их много. Продолжать работать по избранным направлениям. Идти дальше и глубже в области моделирования дезурбанизационных процессов и пытаться обратить внимание общества на перспективность этой модели. Вложить силы и время в заявленный проект социологического эксперимента в рамках 26-го исследовательского комитета МСА – «Сказ о двух деревнях», параллельное восстановление горожанами полностью (то есть именно полностью!) заброшенных деревень в Костромской области, на Крите, в Центральной Италии и в провинции Онтарио в Канаде. Убеждать, показывать, доказывать. Не ставить перед собой несбыточных целей, а точно, насколько можно,

соизмерять исследования с их возможным применением в практических проектах на территориальных просторах России. По-моему, так.

* * *

За все благодарю социологию. Она раскрывает неповторимую перспективу восприятия общества, делает возможным «взгляд за фасад» всего, что происходит вокруг, включая события большого масштаба и события повседневности. Несколько раз в жизни мне приходилось бродить по лесу с биологами. И, о чудо! ученый-натуралист за каждой травинкой, за каждой пролетающей бабочкой или птицей видит природную закономерность. Он обо всем может рассказать, все проинтерпретировать. В природе мало случайного, все по-своему обоснованно. Она – открытая книга, которую можно и должно прочитать. Как мне кажется, и в обществе с помощью социологии мы во всем определяем неслучайность, казалось бы, случайного. И мы, социологи, читаем раскрытую книгу общества. Может ли быть большее наслаждение? Для меня – нет.

P.S. Хочу поблагодарить моих коллег Е.Н. Пенскую и С.Ю. Демиденко, участвовавших в подготовке этого интервью.

Москва, пос. Вороново. Январь 2021 года